Ты знаешь домового. А хозяйку знаешь? Жену садовника? Она была начитанна, знала наизусть много стихов и даже бойко сочиняла их сама. Вот только рифмы — «спайки», как она их называла, давались ей не без труда. Да, у нее был и писательский талант и ораторский; она могла бы быть хоть пастором, по крайней мере — пасторшею!

— Как хороша земля в воскресном уборе! — сказала она и поспешила облечь эту мысль в стихи со «спайками», очень красивые и длинные.

Семинарист, господин Киссеруп — имя тут, впрочем, ни при чем, — сын сестры садовника, гостивший у них, услышал стихи хозяйки и заявил, что они очень, очень хороши!

— Да, на вас лежит печать гения, сударыня! — прибавил он.

— Экий вздор! — сказал садовник. — Не вбивайте ей ничего такого в голову! Женщина прежде всего должна обладать наружностью, приличною наружностью, и дело ее — смотреть за тем, чтобы каша в горшке не прикипела да не подгорела!

— Пригар я очищу древесным углем! — ответила жена: — А накипь на душе у тебя сниму поцелуем! Подумаешь, право, что у тебя на уме одна капуста да картофель, а ты ведь любишь и цветы! — И она поцеловала его. — Цветы — это и есть поэзия! — прибавила она.

— Смотри за кашей! — повторил он и ушел в сад: у него была своя каша, за которою следовало смотреть.

А семинарист остался сидеть с хозяйкой. Ее слова: «Как хороша земля!» — он развил в целую проповедь в своем духе:

— Земля прекрасна; «наследуйте землю», — было сказано людям, и они стали господами на земле. Один добился этого благодаря своим духовным дарованиям, другой — физическим; один был пущен в свет вопросительно-восклицательным знаком, другой — многоточием, так что невольно спрашиваешь: зачем он, в сущности, явился? Один становится епископом, другой остается бедным семинаристом, но все на свете устроено одинаково премудро. Земля прекрасна и всегда в праздничном уборе! Это стихотворение пробуждает столько дум, сударыня! Оно полно чувства и знания географии.

— На вас тоже лежит печать гения! — заметила хозяйка. — Уверяю вас! Беседуя с вами, начинаешь ясно понимать себя!

И они продолжали беседу в том же прекрасном, возвышенном духе. А в кухне тоже кто-то вел беседу — домовой! Домовой в сером балахоне и красненькой шапочке. Ты знаешь его! Он был в кухне, обозревал там горшки. Он тоже говорил, но его никто не слушал, кроме большого черного кота — «сливкокрада», как величала его хозяйка.

А на нее домовой был очень сердит, — он знал, что она не верит в его существование. Правда, она и не видала его никогда, но все же была, кажется, достаточно просвещена, чтобы знать о его существовании и оказывать ему хоть некоторое внимание. Ей вот небось не приходило на ум угостить его в сочельник хоть ложкой каши! А ее получали все его предки, даром что хозяйки их были совсем неученые! И какую кашу! Она так и плавала в масле и в сливках!

У кота даже слюнки потекли при одном упоминании о сливках.

— Она называет меня «понятием»! — говорил домовой. — Ну, это выше всех моих понятий. Она прямо-таки отрицает мое существование. Я уж раз подслушал ее речи и теперь опять хочу пойти подслушивать. Ишь, сидит и шушукается там с этим семинаристом! А я повторю за хозяином: «Смотри лучше за кашей!» Но она и не думает об этом. Постой же, я заставлю кашу кипеть, да так, что она поползет через край! — И домовой раздул огонь. У! Как зашипело, загорелось! Каша так и побежала из горшка. — А теперь пойду и понаделаю дыр в чулках хозяина! — продолжал он. — Больших дыр и в пятках и в носках. Будет ей тогда чем заняться, если останется досуг от рифмоплетства! Штопай-ка лучше мужнины чулки, сударыня поэтесса!

Кот в ответ на это чихнул; он простудился, хоть и ходил в шубе.

— Я открыл дверь в кладовую! — сказал домовой. — Там стоят кипяченые сливки, густые, что твой кисель! Хочешь вылакать? Не то я сам вылакаю!

— Нет, уж коли терпеть побои, так было бы за что! Я вылакаю! — ответил кот.

— Потешь язычок, а потом тебе почешут спинку! — сказал домовой. — Теперь я пойду в комнату семинариста, повешу его подтяжки на зеркало, а носки суну в умывальный таз с водою, — пусть думает, что пунш был чересчур крепок и что у него в голове шумело. Сегодня ночью я сидел на дровах возле собачьей конуры. Мне ужасно нравится дразнить цепную собаку, я и давай болтать ногами. Собака, как ни прыгала, не могла достать до них, злилась и лаяла. А я-то себе болтаю да болтаю ногами! То-то потеха была! Семинарист проснулся от шума, три раза вставал с постели и смотрел в окно, но меня-то уж ему не увидать, даром что в очках. Он и спит в них!

— Ты мяукни, когда хозяйка придет! — сказал кот. — А то я не услышу — у меня сегодня уши болят.

— Язычок у тебя болит, вот что! Ну, лакай — выздоравливай скорее! Только оботри рыльце, а то сливки с усов капают. Ну, а теперь я пойду подслушивать.

И домовой подкрался к двери, а дверь-то стояла полуотворенною. В комнате не было никого, кроме хозяйки и семинариста. Они говорили о том, что семинарист так прекрасно называл «печатью гения» и ставил выше всяких горшков и каш в любом хозяйстве.

— Господин Киссеруп! — начала хозяйка. — Я хочу воспользоваться случаем, показать вам что-то, чего еще не показывала ни единой живой душе, особенно мужчине, — мои маленькие стишки. Некоторые из них, впрочем, несколько длинноваты! Я назвала их «Спайки дщери Дании»; я, знаете, люблю больше старинные слова.

— Так и подобает! — сказал семинарист. — Немецкие же слова следует совсем изгнать из датского языка.

— Вот, я так и делаю! Я никогда не говорю «бутерброд» или «фефферкухен», а всегда «хлеб с маслом» и «пряники».

И она вынула из ящика стола тетрадь в светло-зеленой обложке, на которой красовались две кляксы.

— В этой тетрадке очень много серьезного! — сказала она. — Меня все больше тянет к печальному. Вот «Ночные вздохи», «Моя вечерняя заря», вот «Наконец я твоя, мой Клеменсен!» Это стихотворение посвящено моему мужу, но его можно пропустить, хотя оно и очень прочувствовано и продумано. Вот «Обязанности хозяйки» — это лучшая вещь! Но все стихи грустны — в этом моя сила. Тут есть только одна вещь в шутливом духе. Я излила в ней свои веселые мысли — находят на человека и такие — мысли о... Да вы не смейтесь надо мною! Мысли о положении поэтессы! До сих пор об этом знала только я да мой ящик, а теперь узнаете вот вы. Я люблю поэзию, и на меня часто находит поэтическое настроение. В такие минуты я сама не своя. Все это я и высказала в «Крошке домовом»! Вы ведь знаете старинное народное поверье о домашнем духе, который вечно проказит в доме? И вот я изобразила себя домом, а поэзию, волнующее меня поэтическое настроение — домовым. Я воспела могущество и величие «Крошки домового»! Но вы должны дать мне слово никогда не проговориться об этом моему мужу или кому бы то ни было. Читайте вслух — я хочу видеть, разбираете ли вы мой почерк!

И семинарист читал, а хозяйка слушала; слушал и домовой. Он ведь, как ты знаешь, собирался подслушивать и подошел как раз в ту минуту, когда прочли заглавие «Крошка домовой».

— Э, да речь-то идет обо мне! — сказал он. — Что она могла написать про меня? Постой же, дойму я тебя! Буду воровать у тебя яйца, цыплят, выгонять жир из теленка! Вот что, сударыня хозяюшка! Скажите, пожалуйста!

И он навострил уши. Но вот он слышит о величии и могуществе домового, о его власти над хозяйкой, — она ведь подразумевала под домовым поэтическое настроение, но домовой понял все это буквально — и лицо его стало расплываться в улыбку, глазки заблестели от удовольствия, губы сложились в важную мину; он даже невольно привстал на цыпочки и вырос на целый вершок! Ах, он был в таком восторге от всего сказанного о «Крошке домовом»!

— А в хозяйке-то и впрямь сидит гений! И как она образованна! Я был ужасно несправедлив к ней! Она поместила меня в свои «спайки»; их напечатают и прочтут!.. Ну, уж полно теперь коту лакать хозяйкины сливки — я сам буду лакать их! Один все же выпьет меньше, чем двое, вот и экономия! Я и буду теперь соблюдать ее, буду почитать и уважать хозяйку!

«Сколько, однако, в нем человеческого! — подумал старый кот. — Стоило хозяйке польстивее мяукнуть ему, и он сейчас запел на иной лад! Хитра она, хозяйка-то!»

Но она вовсе не была хитра; хитер-то был домовой — в нем было много человеческого!

Если ты не понимаешь этой истории, то попроси объяснения — только не у домового, да и не у хозяйки.